

Еще бы мне не помнить времени — и себя в нем, а Эдика и подавно; еще бы забыть мне подробности времени, когда и самому смелому фантасту ни за что не вообразилась бы историческая ситуация, при которой на московских просторах воздвигли памятник футболисту — и не футболисту вообще, а именно Стрельцову.

Но дожили мы и до того, что квалификация всего минувшего никак не приходит в согласие и с беглой оценкой того времени, что легче назвать нынешним, чем настоящим.

И стоит вспомнить мне сегодня именно о Стрельцове, не совсем уж праздным кажется мне вопрос о памятнике ухай-даканному минувшим временем Эдуарду: кому изваяние высится (беру во внимание все три ипостаси памятника, включая Ваганьковское надгробие) — жертве или герою?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОСХОЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ФАНТАЗЕР ИЗ ПЕРОВА

Когда полуторагодовалый Эдик, разбежавшись, впервые ударил по резиновому мячику, соседи по двору принялись уверять Софью Фроловну, что ее сын непременно будет футболистом.

Матерей часто обольщают уверениями в необыкновенной одаренности их детей в той или иной области.

Но перовские соседи Стрельцовых не ошиблись — Эдуард никем другим быть не мог — и остался футболистом действительно уж всему вопреки и всему назло.

* * *

Когда он исчез, так же внезапно, как явился, современники принялись сочинять для потомков свои впечатления от стрельцовского начала, справедливо уверовав в неповторимость происшедшего при них явления.

Гипербола сразу стала единственной оценкой и того, что делал Эдуард на поле, и того, что он позволял себе не делать.

И мне никуда не деться от преувеличений в жизнеописании, в котором все же намереваюсь заземлить легенду о Стрельцове.

Но сам Стрельцов — очень возможно, и не желая того и не помышляя о том — слишком уж обжил легенду о себе.

И сочиненное о нем едва ли будет противоречить реальности.

Он сказал мне однажды: «Ты же фантазируешь, когда пишешь? Вот и я на поле фантазировал».

Так почему же в жизни — к ней Эдуард приспособлен был явно меньше, чем к игре, — он должен был стать реалистом?

Законы игры нарушались им ради законов, писанных для него одного, — он подчинялся по-настоящему только зову собственной игрецкой природы, с чем всем пришлось в итоге смириться.

Он принимал, например, мяч на своей половине поля — и весь стадион вставал со своих мест в предвкушении индивидуально ответственного решения...

Но в следующей игре, а нередко и в нескольких играх подряд, он бывал никаким, нулевым, как говорят спортсмены.

В матче демонстративно не принимал участия, выглядел лишним человеком на поле.

Трибуны негодовали, однако негодовали дежурно, суеверно.

Трибуны знали, что единственным фантастически остроумным ходом даже на девяностой минуте игры он сможет совершить невозможное — и восемьдесят девять минут бездеятельности ему простятся.

От него ведь и не ждали правильной и полезной игры.

Ждали чуда.

И впечатление от случившегося надолго заряжало бесконечностью терпения.

Тренер и партнеры иногда чуть ли не насильно выталкивали Эдуарда на поле — он сопротивлялся, рефлексировал, канючил, что не хочет и не может сейчас играть: «ноги тяжелые».

Но и после этого мог сыграть гениально от первой до последней минуты.

Ближе познакомившись со Стрельцовым, я понял, что сравнение великого атлета с принцессой на горошине не притянута за уши.

Он сказал мне однажды — уже после завершения им карьеры футболиста, — что вообще не любил играть летом: «очень жарко».

Проникнуться его состоянием дано было людям, хорошо его знавшим, — и я был свидетелем подобного проникновения, когда предвосхитило оно чудо, произошедшее через мгновение на поле.

Из Ленинграда транслировали полуфинал Кубка. Шел год, кажется, шестьдесят шестой. Мы смотрели футбол у меня дома с классным торпедовским игроком Борисом Батановым и с моим другом Авдеенко.

Под трансляцию, извините за подробность, пили водку.

Когда Стрельцов принял мяч в центральном круге, Борис спокойно сказал: «Можно чокнуться».

Мы с Авдеенко подняли рюмки с некоторым сомнением — Эдуард той поры реже, чем раньше, баловал слишком уж эффективными индивидуальными действиями, восхищал главным образом парадоксами распасовки.

Но Борис безошибочно уловил настрой и решение недавнего партнера. А комментатор лишь после забитого гола произнес общие слова об уникальной значимости Эдуарда Стрельцова в отечественном футболе. Мы же благодаря батановскому чутью успели не только чокнуться, но и выпить за гения Эдика.

* * *

В детской команде завода «Фрезер» он был самым маленьким по росту, но играл центрального нападающего почти в той же манере, что и потом за мастеров.

За одно лето — сорок девятого года — он вырос сразу на тринадцать сантиметров и совсем мальчишкой стал выступать за мужскую команду завода.

Когда после игры взрослые футболисты собирались в кафе, Эдика кормили, совали в кулак три рубля — на мороженое — и поскорее отсылали: «Иди, нечего тебе взрослые разговоры слушать, иди гуляй».

Он уходил от них — безо всяких обид. И — без сожаления. Вне футбольного поля у него ничего с ними общего не было.

Он ехал из Перова в Москву — на футбол. На стадионе «Динамо» часа по четыре отстаивал в очереди за билетом — школьным, самым дешевым.

«По-настоящему, — говорил Стрельцов, — моей командой был, конечно, “Спартак”. Но из-за Федотова и Боброва — они мне все-таки нравились больше всех — я болел и за ЦДКА».

Пройдет пять лет — и юный торпедовец Стрельцов будет приглашен армейским клубом на товарищеские матчи в ГДР. Уже на стадионе он вспомнит, что оставил в гостинице плавки. Скажет об этом кому-то, кто был рядом, а Григорий Иванович Федотов (работавший вторым тренером) услышит. И перед выходом на разминку протянет ему плавки: «Держи!» Федотов за ними в гостиницу съездил. Стрельцов рассказывал, что не знал куда деться от стыда: кумир его детства — и вдруг какие-то плавки: «Григорий Иванович! Да зачем же вы, я бы...» А Федотов: «Знаешь, я тоже играл, но как ты играешь, Эдик...»

Эдик забудет тогда четыре мяча, но неловкость перед Федотовым останется у него до конца жизни Григория Ивановича, да и своей жизни тоже.

По типу характера Стрельцов, наверное, ближе был к Федотову, чем к Боброву. И в годы после возвращения в футбол играл ближе к федотовской послевоенной манере.

Я бы сказал, что для своего поколения Эдик стал и Бобровым, и Федотовым, если бы не считал, что судьба его — быть Стрельцовым. Ни Есениным футбола, ни Шаляпиным, ни Высоцким, а Стрельцовым — и только...

Он вспомнит, что «Динамо» и ЦДКА побеждали тогда чаще, чем «Спартак». Но в спартаковской игре никто не жадничал — все играли в пас. «Я и мальчишкой чувствовал, что в “Спартаке” ценят игрока, понимающего, когда придержать мяч, когда отдать. С мячом они охотно, свободно, но расставались. И никто из спартаковцев, по-моему, не воображал себя героем, когда мяч забивал».

«Мне хотелось, — признавался Стрельцов, — играть в “Спартак” и тогда, когда я уже вырос и в “Торпедо” считался стоящим игроком».

Мама Стрельцова, Софья Фроловна, в разговорах с журналистами любила рассказывать, в какой бедности они с Эдиком жили: сын прибежал, наигравшись во дворе в футбол, а дома куска хлеба не находилось...

Она в нестарые еще годы перенесла инфаркт, болела астмой, получила инвалидность, но работала — сначала в детском саду, потом на «Фрезере». И Эдик после семилетки не только играл в футбол за команду завода, но и был слесарем-лекальщиком.

Сам он, однако, разговоров о бедном детстве избегал.

Может быть, оттого, что, когда мы познакомились, жил он по советским меркам очень хорошо — и не в его характере было вспоминать о плохом.

На банкете в Мячкове по случаю победы на чемпионате страны в шестьдесят пятом году он в своем тосте весело говорил о свалившемся на него несчастье, искорежившем всю жизнь, как о «случившемся с ним случае».

А может быть, молчал про давнишнюю бедность из-за обостренного с годами чувства справедливости. Он-то знал, что провел детство без отца благодаря женской гордости матери.

В сорок третьем году отец приезжал к ним на побывку с фронта. Его сопровождал ординарец. С четырьмя классами образования, столяр с «Фрезера» Стрельцов-старший уходил на войну рядовым — и стал офицером разведки. «Отец у тебя везучий, — объяснял Эдику ординарец, — столько “языков” на себе притащил, а на самом ни одной царапины...» Эдик в общем-то знал о хладнокровии, которое отец проявлял в экстремальных ситуациях. До войны у отца с матерью случилась как-то буйная ссора. И Софья Фроловна бросила в мужа горячий, схваченный с электроплитки кофейник. А тот подставил свою огромную ладонь — и кофейник врезался в стену. А потом закурил папиросу и спросил у матери: «Успокоилась?»

Ординарец же сообщил зачем-то Софье Фроловне, что у отца на фронте есть женщина — и мать написала отцу, чтобы домой не возвращался.

Он и не вернулся. Жил в Киеве с новой семьей.

Эдуард встретился с ним за всю послевоенную жизнь лишь однажды — уже семнадцатилетним игроком команды мастеров — в Ильинке, когда хоронили деда, работавшего на «Фрезере» фрезеровщиком. И у отца, и у деда, считал Эдик, руки были золотые — отец всю мебель дома сделал сам.

И в Ильинке возник конфликт. Кто-то полез на Стрельцова-старшего с топором. Сын, здоровый парень, испугался: псих этот топором мог убить папу. «Что ты, сынок, — успокоил его отец, — мне его топор...» И, как тогда, закурил.

Софья Фроловна считала, что Эдик — «вылитая я». Но Стрельцову хотелось быть похожим на отца. «Я и похож, — говорил он мне, — у него вот только волосы сохранились...» Эдик полысел, вернувшись из заключения.

«Между нами, мать свою я не уважаю», — сказал он в том разговоре неожиданно для меня. Мать в этот момент жарила нам на кухне котлеты.

Я понял так, что он не смог простить ей принципиальности, проявленной по отношению к отцу. Конечно, в послевоенном Перове отца ему очень не хватало.

Первая жена Стрельцова, Алла, вообще считала причиной всех бед своего непутевого супруга безотцовщину...

Футбол, который видел подростком Эдик на «Динамо», по его словам, в него «прямо впитывался — отдельные моменты тех матчей у меня всю жизнь в памяти».

У них во дворе в Перове был ледник, лед засыпался опилками — и, когда лед увозили, освобождалась площадка для игры.

С ощущения этих опилок на подошвах и начиналось, возможно, своеобразие его футбола.

Но Стрельцова Стрельцовым сделал еще и талант внимательного и благодарного зрителя послевоенного футбола: матчи, увиденные им на «Динамо», привили вкус к элитарному толкованию игры.

* * *

Кто бы поверил, но я помню в некоторых подробностях свое состояние в тот мартовский день, когда я узнал о существовании Стрельцова.

Тринадцатилетний школьник, сидел я, вернувшись с уроков, на кухне в квартире на углу Хорошевского шоссе и Беговой улицы, ведшей к стадиону «Динамо» — что совсем немаловажным было в моем самоощущении, — и читал газету «Советский спорт», которую родители после долгих уговоров выписали мне с нескрываемой горечью: узость моих интересов вкупе с невысокой успеваемостью в учебе резонно вызывали у них большие сомнения в будущем сына. Газета действовала на меня терапевтически — углубляясь в ее чтение, я забывал про все неприятности.

Помню свое смятение перед открывшейся судьбой еще секунду назад неизвестного мне человека, чья близкая молодость вдруг вдохновляюще подействовала на меня.

Помню полуденное солнце на хрусте сминаемого нетерпением газетного листа. Весной я остро испытывал (и до сих пор испытываю) непонятную тоску. Сейчас — зная все дальнейшее — мне, наверное, легче объяснить происхождение этой тоски нежеланием смириться со своим несовершенством.

И ожидание воздействия извне.

Сложись моя жизнь по-иному, Эдуард, наверное, вошел бы в нее в иных объемах — почему-то мне кажется, что для внутреннего родства с ним неблагополучия во встречной судьбе должно быть больше, чем благополучия, или, может быть, ровно столько же...

В газетной заметке ничего не предрекалось — сообщался возраст торпедовского новобранца: шестнадцать лет — и всё.

Но мне различной в строке информации вполне хватило.

* * *

Думаю, что для душевного здоровья Эдика — каким-то чудом сбереженного им до преждевременного смертного часа — гораздо лучше было бы попозже узнать не славу даже, а тяжесть лидерства.

Лидерства, особенно трудного для него по его человеческому складу — и вместе с тем неизбежного. Не фокус догадаться, что предвестием выпавших на долю Стрельцова бед стала ответственная жизнь уже в семнадцать лет у всех на виду — без сколько-нибудь надежных опор в чем-либо или в ком-либо.

Перегрузки премьерства и лидерства для юного существа, не созданного ни верховодить, ни подавлять чью-то волю — склонного, напротив, поддаваться любому влиянию, быть ведомым, управляемым и безотказным, — осложнили жизнь Стрельцова с первых шагов, которые у него несравненно удачнее получались на траве футбольного поля, чем на почве внефутбольного быта.

Общительный и безудержно компанейский парень, не признающий дистанций между людьми — и принятой в любом обществе субординации, — он был изначально обречен на невидимое другим (и едва ли осознанное тогда им самим) одиночество.

Одиночество это — после всего пережитого гордо, горько и молчаливо (без жалоб и обид) осознанное, но для окружающих по-прежнему незаметное — Стрельцов пронес через всю оставшуюся от ослепительной и жестокой к нему юности жизнь...

* * *

В послевоенном футболе создавался культ центрфорвардов — игрок с девятым номером на спине обязательно становился и героем кинофильмов про футбол, один из которых так и на-

зывался — «Центр нападения». Фильмы делались совсем не на документальной основе, но публика все равно готова была видеть в «девятке» черты кого-либо из признанных премьеров атаки.

В реальном футболе выбор центрфорвардов был тогда на все вкусы.

И те, кто конструировал игру, — Григорий Федотов в ЦДКА (стелющийся, кошачий бег, пусть уже не столь стремительный, как до войны, но способный придать коварный разворот самому простенькому маневру, удар с пол-оборота по высоко летящему мячу и поэтому всегда неожиданный), Константин Бесков в «Динамо» (после войны он играл поэффективнее Федотова, много маневрировал по фронту атаки, увлекая за собой опекающего защитника, тем самым освобождая место для индивидуалиста-инсайда Карцева, иногда игравшего и в центре атаки), Борис Пайчадзе в тбилисском «Динамо» (он значил для своей команды то же самое, что значили для ее московских соперников Федотов и Бесков, но зритель-эстет, вне зависимости от клубных пристрастий, обожал великого грузина за артистичность его игрового поведения и факсимильность исполнения), Никита Симонян (в отличие от вышеназванных он начинал в послевоенном футболе, и с его приходом в «Спартак» связано возрождение самого любимого народом клуба; как игрок новых времен он был универсальнее предшественников, сложнее укладывался в принятое амплу, ну и — забивал голы, забивал, забивал...).

И те, кто преуспевал в таранной игре, более понятной неискушенному зрителю, однако ценимой и знатоками (ведь нередки ситуации, когда только атлетического склада игроку удается быть по-настоящему убедительным в непосредственной близости к воротам противника), — Сергей Соловьев все в том же московском «Динамо» (быстрее всех бегущий «лось») и Александр Пономарев в «Торпедо» (невысокий крепыш, вероятно, в чисто атлетических статьях уступавший Соловьеву —

как в технике и кругозоре он уступал Федотову, Бескову, Пайчандзе, — зато чаще всего превосходил их по бойцовским качествам и, случалось, опережал их в списке лучших). И, пожалуй, если бы не Стрельцов с Ивановым, прямолинейный хозяин на поле Пономарь так бы и остался навсегда эталоном торпедовского форварда.

И был, конечно, Всеволод Бобров, занявший место в центре всего послевоенного футбола.

Амплуа центрфорварда он — назначенный первоначально левым инсайдом — занял самочинно. В том смысле, что чуть раньше, чем великий тренер Борис Аркадьев закрепил за ним это амплуа в новой тактической схеме — и нашел для него неизвестную доселе рифму партнерства с Федотовым.

Бобров расширил занятую им роль прежде всего тем, что сузил ее до недостижимой для коллег по линии нападения элементарностью — он ставил все на гол, который гарантированно обязуется забить всегда сам, — и ожиданию от него этого непременно гола подчинялись остальные форварды ЦДКА (и даже, с известными оговорками, Григорий Иванович Федотов).

Стрельцову повезло больше, чем Федотову и Боброву. Очень уж серьезные травмы до тридцати с лишним лет его миновали. Олег Маркович Белаковский — прославленный спортивный врач и близкий друг Боброва еще по Сестрорецку, где жили они с Всеволодом в детстве, — сказал, что отсутствие у Эдика чувствительных повреждений означает доброкачественную работу на тренировках. Впрочем, когда я выразил сомнение в излишнем трудолюбии Стрельцова, он согласился, добавив, что природа поработала на торпедовца с большим запасом: функциональная готовность у него была высокой даже после нарушений режима (это на молодом организме никак не сказывалось), а уберечься от травм помогали и очень могучий корпус, которым он прикрывал доступ защитникам к мячу, и длинные мышцы бедер...

Но защитники не расставались с надеждой сломать Стрельцова. И первая жена Эдика через многие годы призналась в интимной подробности: в супружеской постели ей приходилось прикасаться к мужу с осторожностью, после игры у него болело все тело.

Свои частые паузы в игре Стрельцов чаще всего объяснял плоскостопием — от излишнего движения деревенели ноги.

И он с юности сохранял себя для максимального выражения в тех эпизодах, где его влияние на игру могло стать решающим. Кроме того, в игровых паузах — иногда он в этом признавался, а иногда отмахивался и смеялся, когда такие предположения от нас слышал, — Эдик словно фотографировал в игрецком мозгу расстановку сил на «поляне», ее динамику.

Откуда и происходило прославившее Стрельцова в более поздние времена видение поля.

Стрельцов крайне редко (а в трезвом виде вообще никогда) не разглагольствовал подолгу, тем более о своей игре.

Его жанр в беседах — застольных и прочих — смешная реплика или иногда короткая история, тоже обычно веселая. Я никогда и не пытался расколоть Эдика на длинный рассказ, но что-то в одном из наших разговоров о футболе его задело — и он высказался достаточно пространно, а я по горячим следам, не доверяясь памяти, записал этот монолог:

«Вот сколько играл я в футбол, столько и приходилось слышать упреки — за то, что стою.

Причем говорили бы, кто ничего не понимает про игру — ладно: чего им возражать? Но говорят же и люди опытные, которых ценю, — туда же. Мол, если бы он еще не стоял — остальное их, слава богу, устраивает...

Но я же мог отстоять и сорок минут, и сорок пять, но вот за каких-нибудь пять или даже за одну минуту вступления, включения в игру мог сделать то, чего от меня требовали и ждали.

Я ведь, случалось, или в самом начале игры, или в самом ее конце — не важно — забивал гол, становившийся решающим.

Вот, пожалуйста, вспомни: в пятьдесят восьмом году, когда играли против Румынии, я почти все время оставался в стороне от главных событий — ни в одной комбинации не участвовал. И румынские защитники про меня забыли. Но, когда уже играть всего ничего оставалось — а мы проигрывали 0 : 1 — я вдруг увидел возможность с левого инсайда догнать уходящий за лицевую мяч. Догнал — и под очень острым углом пробил мимо вратаря, который мне навстречу выскочил. Мяч о дальнюю штангу ударился — и отскочил прямо в сетку.

Я часто заставлял защитников врасплох — значит, бывал эффект неожиданности в том, что я на поле чудил. А все равно потом про меня говорили: лень, поза...

Возможно... Но из такой вот лени или позы я иногда выскакивал как из засады.

Потом, я же тебе говорил: не все знали — а мне зачем признаваться, пока играл? — у меня плоскостопие. После тяжелой игры я еле плелся — шаг, бывало, лишний сделать больно. И кроссы в предсезонный период старался не бегать.

Я обычно мог хорошо отыграть игру лишь в своем, для себя найденном режиме — и к нему себя готовил, правда, иногда не то чтобы сачковал, но, дело прошлое, подходил несерьезно. Хотя неготовый лучшим образом в отдельных случаях играл даже лучше, чем перетренированный.

В игре я искал момент — то есть находил в большинстве случаев такие ситуации, в которых мое непременно участие только и могло привести к голу.

За мячом, с которым не видел возможности что-либо конкретное сделать, я и не бежал, как бы там трибуны нервно на это ни реагировали.

Но за тем мячом, с которым знал, что сделаю для необходимого в игре поворота, для внезапного хода, я бежал, уж бедных

своих ног не жалея, и к такому мячу редко опаздывал. Мои партнеры на меня реже обижались, чем сидящие на трибунах специалисты и зрители. Правда, и партнеры не всегда меня понимали. Но я на них в обиде не бывал. Иногда только сердился. Но про себя.

Я стоял — берег силы. Но берег-то для момента, в который мог сам забить или отдать такой пас партнеру, чтобы он больше не жалел о времени, потраченном на ожидание от меня мяча.

Все, что возможно, что казалось мне возможным сделать на поле, я уж пытался, скажу тебе, сделать на совесть, что бы там ни говорили: стоит, мол, он, и прочее...»

С другой стороны, некоторая вялость — в молодости иногда и душевная — коренилась в самом складе характера Эдуарда.

Бобров как-то сказал мне, что ненавидел себя, когда не мог сделать задуманного. И я понял, что это касается не только игры — мы разговаривали в красногорском госпитале незадолго до кончины Всеволода Михайловича.

От Эдуарда Анатольевича, с которым я общался несравнимо чаще и продолжительнее, чем с Бобровым, я ничего подобного и не ожидал услышать.

Недовольство собой или другими из него выплескивалось в редчайших случаях. Но уж с такой непосредственностью! Однажды в молодые годы он самовольно ушел с поля во время матча, а изумленному и возмущенному Маслову буркнул: «Вы лучше всех остальных научите играть!» А вообще-то к промахам партнеров был поразительно для премьеры терпелив. Наоборот, успокаивал — помню, как из-за удара Геннадия Шалимова мимо ворот из выгоднейшей позиции в Киеве торпедовцы лишились ничьей с лидером, необходимой им для турнирного куража в сезоне шестьдесят восьмого, и неудачник в слезах твердил, что бросит теперь футбол, а Эдуард сердито, что лучше всяких утешений, сказал ему: «Перестань! Что за дела? Со мной, что ли, та-

кого не бывало? Какие я мячи не забивал — ты бы посмотрел! Из таких положений — лучше не бывает».

Стрельцов как спортсмен проигрывает в сравнении Боброву. Но, уступая Бобру в спортивном величии, Эдик в чисто футбольных возможностях, в том проникновении в игровую суть, которая отличала осень его карьеры, был, по моему разумению, выше.

«Мощь» — слишком общее слово для выражения стрельцовой индивидуальности в сезонах первого его пришествия. Но на этой мощи, скорее всего отвлекающей от иных несомненных достоинств, без которых нет великого футболиста, задерживается буквально каждый из современников, кто берется характеризовать преимущества Стрельцова перед всеми в самой ранней стадии признания.

Уже упомянутый Борис Батанов, склонный видеть в игре, как правило, тонкости и нюансы — подробности, недоступные взгляду неспециалиста, — когда его спросили, уверен ли он, что Эдик — фигура, превосходящая природным даром Пеле, привел пример, лишний раз утверждающий гулливерский статус одноклубника. Борис вспомнил, как обманутый маневром Стрельцова неуступчивый киевский защитник Виталий Голубев, некогда сыгравший и за сборную страны, изловчился все-таки и отчаянным рывком вцепился в майку обошедшего его и набравшего паровозную скорость Эдика.

И тот протащил его за собой, не снижая темпа...

Голубев сначала волочился, скользил по траве, а затем растянулся в горизонтальном полете. Стрельцов же дошел до штрафной площадки — и пробил. Мяч врезался в штангу, но выскокивший из-под земли Валентин Иванов довел прорыв своего партнера до гола...

Батанову вторит Белаковский. Он считает, что Эдику — такому, каким он был накануне мирового чемпионата пятьдесят

восьмого года, — Пеле заметно уступал и в скорости, и в физических возможностях.

И в своеобразии игровых ходов.

Боброва и Стрельцова выделяют еще и как два наиболее былинных характера в футбольной истории, лстящих расхожему народному чувству.

И все равно я бы их полностью не отождествлял.

При всей осязаемой трибунами вольнице Боброва и на поле, и вне поля, при нескрываемой разухабистости была в нем и офицерская дисциплина — военная солидность, с примесью, конечно, гусарства по-советски, не поощряемого впрямую ПУРом, но допустимого в народившемся типе официального спортсмена, в демократическом противовесе возомнившим о себе — и за то наказуемым — братьям Старостиным, слишком уж кичившимся породистым егерским аристократизмом.

Нет, порода и в Боброве чувствовалась, но вызова режиму никто из вышестоящих не хотел в ней видеть. Предполагалось, что, прежде чем облачиться в красную фуфайку армейского клуба, он стянул через голову военную гимнастерку.

А вот в стрельцовой развальце за версту виделась разболтанность, расхлябанность — и бдительным начальникам так и чудилось, что в футболку сборной СССР переодевается стилига, сбросивший длиннополый стилижный пиджак и узкие брюки и переступивший в бутсы бомбардира из модных мокасин. Впечатления парня, прибывшего на торпедовскую базу в поношенном ватнике, превратившийся в знаменитого футболиста Эдуард не производил.

Вальяжность его на поле смотрелась повадкой барина в халате.

Правда, когда он хотел играть, он сбрасывал эту вальяжность, словно уже боксерский халат, вступая в матч яростным тяжеловесом...

Бобров и в застолье любил верховодить, пил красиво и тосты умел говорить. Неприятности из-за очевидной нетрезвости

и с ним изредка случались, но Стрельцов в умении искать приключений на свою задницу в пьяном виде превосходил и Боброва, и всех прочих.

«Из-за водки и весь скандал, — говорила его мама Софья Фроловна, — я его Христом-Богом просила, Эдик...» О чем матери просят, многим из нас, к сожалению, известно...

Для тех, кто близко не знал Стрельцова, скажу, что был он из тех стеснительных натур, кого водка раскрепощает в быту, кому помогает высказать ближним (и дальним) то расположение, на какое в трезвом виде в полной мере человек не способен. Для таких людей и муки совести с похмелья всего острее — совесть они не пропивают. Талант, как показывает судьба Эдика, тоже.

Он извинял себе пренебрежение спортивным режимом, лучше других, наверное, представляя, каким талантом одарен.

Кто-нибудь возразит мне, напомнив о нередких случаях, когда пьющий человек обманывался, излишне положившись на природный дар.

Стрельцов пострадал, не дар свой переоценив, а только добрые к себе чувства...

В быту водка помогала Эдику из свойственной ему склонности к молчаливой прострации резко перейти к активности общежитийского состояния, в иных обстоятельствах — к активности, резко противоречащей его мягкой натуре.

Футбол был самой естественной средой обитания Эдуарда Стрельцова.

В ОЖИДАНИИ СТРЕЛЬЦОВА

Аксель Вартанян жил в пятидесятые годы в Тбилиси и школьником (он на два года старше меня и на год моложе Стрельцова) на запасном поле местного стадиона «Динамо» увидел Эдика,

вернее, специально пришел на него посмотреть, сбежав с уроков.

Московский футболист, о котором еще до первой игры его в начале апреля уже шла молва (их тысячи три собралось в непогоду на торпедовской тренировке) среди тбилисских болельщиков как о вундеркинде, показался будущему знаменитому статистику каким-то по-особенному чистеньким, светленьким.

На каждое удачное движение не по годам рослого и длинноногого голубоглазого блондина — финт ли, рывок ли, удар — разбиравшаяся в футболе публика отзывалась восторженным гудением.

Он подбежал к трибунам за укатившимся мячом — и, зардевшись, заулыбался, когда ему зааплодировали. Возвратившись на поле, он словно в благодарность за такое к себе отношение пробил под невероятно острым углом в дальнюю девятку.

Вспоминая, как он оказался в двух-трех шагах от прибежавшего за мячом Эдуарда, Аксель говорил: «Настолько близко я никогда больше его не увижу». Вартанян так и не познакомился со Стрельцовым, хотя и переехал потом в Москву. Но дал нам в итоге исчерпывающий статистический портрет Эдика. А я от строчки в спортивной газете, всколыхнувшей фантазию, дошелтаки до личного знакомства с Эдуардом — и прикалываю теперь листочки разрозненных мемуаров к частоколу уточненных цифр.

Я отправился впервые взглянуть на Стрельцова в самом что ни на есть рядовом календарном матче — и смотрел на Эдуарда с полупустой Южной трибуны.

Матч не удался ни Стрельцову, ни «Торпедо».

Но, по-моему, сила впечатления от «нулевого» Эдика и позволяла мне теперь самому судить о степени магнетизма, которым привлекала к себе всех его индивидуальность.

Я вслед за ним пропустил мимо себя игру, не удостоенную им сколько-нибудь заметного участия, — и безотрывно наблюдал все девяносто минут за Эдуардом.

На поле, разделенном вдоль на пепельную тень от трибуны и засвеченную зелень газона, он выглядел словно нарочно укрупненным для досконального рассмотрения: от прогулочной поступи до носа, добродушно вздернутого, до веселого кока блондина. Среди искаженных гримасами борьбы лиц он выделялся домашним выражением на детской физиономии, соединившей простодушие с ленивой лукавостью врожденного артистизма, выглядел баловнем, входящим во вкус (им же и генерируемого) обожания, баловнем, то зазря, то многообещающе вызывающим азарт зрителя своей безучастностью.

Перед ним — да и передо мной — простиралась в своей биологической упоительности жизнь.

И невозможно тогда было представить себе край этой жизни — вообразить, что через тридцать шесть лет мы будем сидеть у Стрельцова дома, в креслах друг напротив друга, — и он, с улыбкой спрятанной боли, с гипсово-бледной печатью смертельной болезни, спавший с лица до неузнаваемости, будет спокойно говорить о предопределенности близкого финала, а я запутаюсь в жалко неестественных словах ободрения...

Но то, что судьба Стрельцова имеет некое касательство и к моему будущему, я откуда-то знал. Что-то метафорически созвучное тревожно мерещилось мне уже тогда.

И дальше были матчи великолепные, и снова матчи, откровенно им проваленные, но отчего-то тоже памятные — и важные для понимания и Стрельцова, и его зрителя, щедро вознагражденного за терпение.

Тогда играли с пятью нападающими.

И все пять форвардов «Спартака» без проблем претендовали на основной состав олимпийской сборной, нацеленной на Мельбурн.

Но первое мая пятьдесят шестого года стало днем торпедовской атаки.

Точнее, бенефисом Стрельцова — притом что Валентин Иванов, как всегда, изобретал, комбинировал, исполнял, завершал — словом, действовал в своем стиле.

Эдик, однако, затерзал, затаранил, запугал стойких спартаковских защитников до того, что на внимание к стрельцовским партнерам их не хватало.

Эдуард не забил «Спартаку» ни одного из двух безответных мячей.

Тем не менее говорили после матча только о нем, его одного превозносили, забыв про труд одноклубников.

Персонально против Стрельцова играл герой исторического матча советской сборной с ФРГ Анатолий Маслёнкин. На разборе игры Николай Петрович Старостин попенял ему: «Посмотри, Толя, как грамотно сыграл Борис Хренов против нашего Симоняна — и опережал при приеме мяча, и вообще...» Маслёнкин перебил основателя клуба: «Да против Никиты я бы тоже сыграл».

Так Эдуард открывал в Москве сезон, завершившийся поздней осенью победой на Олимпиаде в Мельбурне.

* * *

В рассказе Батанова о том, как Стрельцов тащил на себе киевлянина Голубева чуть ли не полполя — после чего Борис всю жизнь и отдает Эдику предпочтение перед Пеле, — безо всякого выражения произнесена была фраза о том, что попавший все-таки в штангу мяч превратил в гол Иванов.

Уточнение, однако, во всех смыслах весьма существенное.

Стрельцову, вполне возможно, и простили бы незабитый гол за испытанное потрясение от мощного продвижения его к воротам. А Иванов обязан забивать — с него иной, без каких бы то ни было любовных послаблений, спрос.

Не представляю теперь переложения судьбы и жизни Стрельцова на драматургическую колею без непрямого поиска со-

участия в судьбе этой и жизни его великого тренера — Валентина Иванова, чья собственная история кому-то, может быть, и кажется обедненной отсутствием катастрофических перепадов, какие узнал в отношении к себе властей и части публики Эдик.

Не уверен, что жизнь Стрельцова на протяжении всего пути смотрелась бы так неослабевающе остросюжетно, не возникни занимающей всех параллели с Ивановым. И, очевидно, параллель увлекает некоторых из нас больше, чем пересечение...

На фуршете, организованном после открытия памятника Стрельцову при входе на стадион его имени, Валентин Козьмич отсутствовал, хотя на самой церемонии привлек повышенное внимание журналистов разных поколений, одинаково взиравших на него как на реликт.

Я вообще заметил, что Иванов из всех ветеранов своей поры наиболее узнаваем — вероятно, внешнему забвению отчасти воспрепятствовала его активность на тренерской скамейке, ратифицированная телеоператорами, когда он четверть века (с вынужденными перерывами) тренировал «Торпедо».

Отсутствие Иванова не осталось незамеченным группой торпедовских футболистов, выступавших с ним в середине шестидесятых (я оказался у банкетного стола рядом с ними), причем вызвало немедленный отклик-комментарий. «А Кузьмы нет?» — оглядел зал один из этих несправедливо, в общем, позабытых господ. «А разве надо объяснять — почему?» — с иронически сочувственной улыбкой проговорил другой, сделавший карьеру на несколько неожиданном для полузащитника дипломатическом поприще.

Из его недоговоренности посвященным следовало понять, что Валентину Козьмичу нелегко перенести посмертный триумф Эдика, превратившегося в монумент.

Но сами того, наверное, не сознавая, подшучивающие над кажущейся слабостью Иванова, они высказывали тем самым

наивысший комплимент: кто же, кроме него, мог позволить себе пусть и ревниво-ранимо, но соотносить себя с натурой для изваяния? Кто же еще достоин соседствовать с ним в футбольной истории — пусть и не вполне, как показало беспощадное время, конкурентоспособно?

Когда Эдик пришел в команду, двадцатилетний Иванов уже занимал в ней положение — и мог бы надуться высокомерно, выказывать свое старшинство и подчеркивать свою принадлежность к группе ведущих игроков. Но — к чести Кузьмы — он сразу разглядел Стрельцова. И я думаю, что поверил не только чутью тренера Маслова, но и своему игроцкому — в первую очередь. В сближении с Эдиком, которому не стукнуло и семнадцати, была наверняка и высокая корысть. Он разглядел в нем прежде всего необходимого себе партнера.

Но разве наилучшие партнеры становятся друзьями?

Обычно совсем наоборот.

Иванов же со Стрельцовым вместе проводили и все свободное время; их поселили в одном доме на Автозаводской — и даже фельетонист Нариньяни, прицеливаясь в Эдуарда, не спешил отвести острое ядовитого пера от Валентина.

Однажды в нетрезвом состоянии Стрельцов проговорился мне, что настоящего друга в жизни ему так и не удалось обрести.

Но из путаных его объяснений я все-таки понял, что в молодости — задолго до подведения жизненных итогов — он считал Кузьму другом.

Да и всем, кто знал их в середине пятидесятых, они представлялись единым целым, неразлучной — некуда и некогда было им разлучаться — парой, когда один был до смешного невообразим без другого. Они всегда вместе выходили из дому, шли к метро «Автозаводская», где в ожидании автобуса собирались торпедовцы. Всюду и бывали только вместе.